

### Критерии оценивания заданий

На городской олимпиаде школьников по литературе предлагается два задания – тестовое и аналитическое. **Тестовое задание оценивается 10 баллами, аналитическое – 40 баллами.**

При выполнении аналитического задания участник выбирает для анализа или интерпретации **один из двух** предложенных текстов (поэтический или прозаический) текст. **Общий максимальный балл – 50.**

#### Критерии оценки теста.

Каждый вопрос тестового задания максимально оценивается 2 баллами.

#### Критерии оценки аналитического задания:

1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, через конкретные наблюдения, сделанные по тексту. **Максимально 20 баллов.**
2. Композиционная стройность и стилистическая однородность работы, точность формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту произведения. **Максимально 10 баллов.**
3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без искусственного усложнения текста работы. **Максимально 5 баллов.**
4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность использования фонового материала из области культуры и литературы. **Максимально 5 баллов**
5. При наличии большого количества речевых и грамматических ошибок, затрудняющих адекватное понимание работы, **оценка может быть снижена (максимально - на 5 баллов).**

**Задание 1**

Перед вами фрагменты из романа Валентина Катаева «Алмазный мой венец», действие которого происходит в Москве в 1920ые годов. Определите, о каких писателях и поэтах идет речь; из каждого фрагмента выпишите 3-5 ключевых слов или словосочетаний, которые помогли вам это сделать.

1. Хотя **синеглазый** был по образованию медик, но однажды он признался мне, что всегда мыслил себя писателем вроде Гоголя. Одна из его сатирических книг по аналогии с гофманиадой так и называлась „Дьяволиада“, что в прошлом веке, вероятно, было бы названо более по-русски „Чертовщина“: история о двух братьях Кальсонерах в дебрях громадного учреждения с непомерно раздутыми штатами читалась как некая „гофманиада“, обильно посыпанная гоголевским перцем. Синеглазый вообще был склонен к общению со злыми духами, порождениями ада.
2. И вот однажды я познакомился с **королевичем**, — который за несколько лет до этого сам предсказал свою славу: «Разбуди меня утром рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт». Я еще с ним ни разу не встречался. Он был в своей легендарной заграничной поездке вместе с прославленной на весь мир американской балериной-босоножкой, которая была в восхищении от русской революции и выбегала на сцену московского Большого театра в красной тунике, с развернутым красным знаменем...
3. **Щелкунчик** расхаживал по своей маленькой нищей комнатке горделиво закинув вверх свою небольшую верблюжью головку, и в то же время жмурился, как избалованный кот, которого чешут за ухом. Я ему помешал. Как раз в это время он диктовал новое стихотворение «Нашедший подкову» и уже дошел до того места, которое, видимо, особенно ему нравилось и особенно его волновало. Мое появление сбilo его с очень сложного ритма, и он зажмурился с несколько раздраженной кошачьей улыбкой, что, впрочем, не мешало ему оставаться верблюдиком. Он нагнулся, взял из рук жены карандаш и написал собственноручно несколько следующих строк. Это была его манера писания вместе с женой, даже письма знакомым, например мне, из Воронежа.
4. **Командор** был тоже прирожденным пешеходом, хотя у первого из нас у него появился автомобиль — вывезенный из Парижа «рено», но он им не пользовался. На «рено» разъезжала по Москве та, которой он посвятил потом свои поэмы. А он ходил пешком, на голову выше всех прохожих, изредка останавливаясь среди толпы, для того чтобы записать в маленькую книжку только что придуманную рифму или строчку.
5. Поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев, разбросанных революцией по стране, давали, по моим соображениям, возможность нарисовать сатирическую галерею современных типов времени нэпа. Все это я изложил **моему другу и моему брату**, которых решил превратить по примеру Дюма-пера в своих литературных негров: я предлагаю тему, пружину, они эту тему разрабатывают, облакают в плоть и кровь сатирического романа. Я прохожусь по их писанию рукой мастера. И получается забавный плутовской роман...



НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  
Городская олимпиада школьников по литературе  
11 класс, 4 декабря 2016

трясогузки и каналы...  
Что ей крейсер,  
    дылда и пачкун? -  
Поскулил  
    и снова засигналил:  
- Кто-нибудь,  
    пришлите табачку!..  
Скучно здесь,  
    нехорошо  
    и мокро.  
Здесь  
    от скуки  
    отсыреет и броня... -  
Дремлет мир,  
    на Черноморский округ  
синь-слезищу  
    морем оброня.

1926

**Булат Окуджава**

**Девушка моей мечты**

Вспоминаю, как встречал маму в 1947 году.

Мы были в разлуке десять лет. Расставалась она с двенадцатилетним мальчиком, а тут был уже двадцатидвухлетний молодой человек, студент университета, уже отвоёвавший, раненый, многое хлебнувший, хотя, как теперь вспоминается, несколько поверхностный, легкомысленный, что ли. Что-то такое неосновательное просвечивало во мне, как ни странно.

Мы были в разлуке десять лет. Ну, бывшие тогда обстоятельства, причины тех горестных утрат, длительных разлук — теперь все это хорошо известно, теперь мы все это хорошо понимаем, объясняем, смотрим на это как на исторический факт, иногда даже забывая, что сами во всем этом варились, что сами были участниками тех событий, что нас самих это задевало, даже ударяло и ранило.

Тогда десять лет были для меня громадным сроком, не то что теперь: годы мелькают, что-то пощёлкивает, словно в автомате, так что к вечеру, глядишь, и еще нескольких как не бывало, а тогда почти вся жизнь укладывалась в этот срок и казалась бесконечной, и я думал, что если я успел столько прожить и стать взрослым, то уж мама моя — вовсе седая, сухонькая старушка... И становилось страшно.

Обстоятельства моей тогдашней жизни были вот какие. Я вернулся с фронта, и поступил в Тбилисский университет, и жил в комнате первого этажа, которую мне оставила моя тётя, переехавшая в другой город. Учился я на филологическом факультете, писал подражательные стихи, жил, как мог жить одинокий студент в послевоенные годы — не загадывая на будущее, без денег, без отчаяния. Влюблялся, сгорал, и это помогало забывать о голоде, и думал, бодрясь: жив-здоров, чего же больше? Лишь тайну чёрного цвета, горькую тайну моей разлуки хранил в глубине души, вспоминая о маме.

Было несколько фотографий, на которых она молодая, с большими карими глазами; гладко зачёсанные волосы с пучком на затылке, тёмное платье с белым воротником, строгое лицо, но губы вот-вот должны дрогнуть в улыбке. Ну, ещё запомнились

**НИУ ВШЭ – Нижний Новгород**  
**Городская олимпиада школьников по литературе**  
**11 класс, 4 декабря 2016**

интонации, манера смеяться, какие-то ускользающие ласковые слова, всякие мелочи. Я любил этот потухающий образ, страдал в разлуке, но был он для меня не более чем символ, милый и призрачный, высокопарный и неконкретный.

За стеной моей комнаты жил сосед Меладзе, пожилой, грузный, с растопыренными ушами, из которых лезла седая шерсть, неряшливый, насупленный, неразговорчивый, особенно со мной, словно боялся, что я попрошу взаймы. Возвращался с работы неизвестным образом, никто не видел его входящим в двери. Сейчас мне кажется, что он влетал в форточку и вылетал из нее вместе со своим потёртым коричневым портфелем. Кем он был, чем занимался — теперь я этого не помню, да и тогда, наверное, не знал. Он отсиживался в своей комнате, почти не выходя. Что он там делал?

Мы были одиноки — и он, и я.

Думаю, что ему несладко жилось по соседству со мной. Ко мне иногда вваливались компании таких же, как я, голодных, торопливых, возбуждённых, и девочки приходили, и мы пекли на сковороде сухие лепёшки из кукурузной муки, откупоривали бутылки дешёвого вина, и сквозь тонкую стену к Меладзе проникали крики и смех и звон стаканов, шёпот и поцелуи, и он, как видно по всему, с отвращением терпел нашу возню и презирал меня.

Тогда я не умел оценить меру его терпения и высокое благородство: ни слова упрёка не сорвалось с его уст. Он просто не замечал меня, не разговаривал со мной, и, если я иногда по-соседски просил у него соли, или спичек, или иголку с ниткой, он не отказывал мне, но, вручая, молчал и смотрел в сторону.

В тот знаменательный день я возвратился домой поздно. Уж и не помню, где я шлялся. Он встретил меня в кухне-прихожей и протянул сложенный листок.

— Телеграмма, — сказал он шепотом.

Телеграмма была из Караганды. Она обожгла руки. «Встречай пятьсот первым целую мама». Меладзе топтался рядом, сопел и наблюдал за мной. Я ни с того ни с сего зажёл керосинку, потом погасил ее и поставил чайник. Затем принялся подметать у своего кухонного столика, но не домел и принялся скрести клеенку...

Вот и свершилось самое неправдоподобное, да как внезапно! Привычный символ приобрёл чёткие очертания. То, о чем я безнадежно мечтал, что оплакивал тайком по ночам в одиночестве, стало почти осязаемым.

— Караганда? — прошелестел Меладзе.

— Да, — сказал я печально.

Он горестно поцокал языком и шумно вздохнул.

— Какой-то пятьсот первый поезд, — сказал я, — наверное, ошибка. Разве поезда имеют такие номера?

— Нэт, — шепнул он, — нэ ошибка. Пиатсот первый — значит пиатсот веселий.

— Почему весёлый? — не понял я.

— Товарные вагоны, кацо. Дольго идет — всем весело. — И снова поцокал.

Ночью заснуть я не мог. Меладзе покашливал за стеной. Утром я отправился на вокзал.

Ужасная мысль, что я не узнаю маму, преследовала меня, пока я стремительно преодолевал Верийский спуск и летел дальше по улице Жореса к вокзалу, и я старался представить себя среди вагонов и толпы, и там, в самом бурном ее водовороте, мелькала седенькая старушка, и мы бросались друг к другу. Потом мы ехали домой на десятом трамвае, мы ужинали, и я отчетливо видел, как приятны ей цивилизация, и покой, и новые времена, и новые окрестности, и все, что я буду ей рассказывать, и все, что я покажу, о чем она забыла, успела забыть, отвыкнуть, плача над моими редкими письмами...

**НИУ ВШЭ – Нижний Новгород**  
**Городская олимпиада школьников по литературе**  
**11 класс, 4 декабря 2016**

Поезд под странным номером действительно существовал. Он двигался вне расписания, и точное время его прибытия было тайной даже для диспетчеров дороги. Но его тем не менее ждали и даже надеялись, что к вечеру он прибудет в Тбилиси. Я вернулся домой. Мыл полы, выстирал единственную свою скатерть и единственное своё полотенце, а сам все время пытался себе представить этот миг, то есть как мы встретимся с мамой и смогу ли я сразу узнать ее нынешнюю, постаревшую, сгорбленную, седую, а если не узнаю, ну не узнаю и пробегу мимо, и она будет меня высматривать в вокзальной толпе и сокрушаться, или она поймёт по моим глазам, что я не узнал её, и как это все усугубит ее рану...

К четырем часам я снова был на вокзале, но пятьсот весёлый затерялся в пространстве. Теперь его ждали в полночь. Я воротился домой и, чтоб несколько унять лихорадку, которая меня охватила, принялся гладить скатерть и полотенце, подмёл комнату, вытряс коврик, снова подмёл комнату... За окнами был май. И вновь я полетел на вокзал в десятом номере трамвая, в окружении чужих матерей и их сыновей, не подозревающих о моем празднике, и вновь с пламенной надеждой возвращаться обратно уже не в одиночестве, обнимая худенькие плечи... Я знал, что, когда подойдёт к перрону этот бесконечный состав, мне предстоит не раз пробежаться вдоль него, и я должен буду в тысячной толпе найти свою маму, узнать, и обнять, и прижаться к ней, узнать ее среди тысяч других пассажиров и встречающих, маленькую, седенькую, хрупкую, изможденную...

И вот я встречаю её. Мы поужинаем дома. Вдвоём. Она будет рассказывать о своей жизни, а я — о своей. Мы не будем углубляться, искать причины и тех, кто виновен. Ну случилось, ну произошло, а теперь мы снова вместе...

...А потом я поведу ее в кино, и пусть она отдохнёт там душою. И фильм я выбрал. То есть даже не выбрал, а был он один-единственный в Тбилиси, по которому все сходили с ума. Это был трофейный фильм «Девушка моей мечты» с потрясающей, неотразимой Марикой Рёкк в главной роли.

Нормальная жизнь в городе приостановилась: все говорили о фильме, бегали на него каждую свободную минуту, по улицам насвистывали мелодии из этого фильма, и из распахнутых окон доносились звуки фортепиано все с теми же мотивчиками, завораживавшими слух тбилисцев. Фильм этот был цветной, с танцами и пением, с любовными приключениями, с комическими ситуациями. Яркое, шумное шоу, поражающее воображение зрителей в трудные послевоенные годы. Я лично умудрился побывать на нем около пятнадцати раз, и был тайно влюблён в роскошную, ослепительно улыбающуюся Марику, и, хотя знал этот фильм наизусть, всякий раз будто заново видел его и переживал за главных героев. И я не случайно подумал тогда, что с помощью его моя мама могла бы вернуться к жизни после десяти лет пустыни страданий и безнадежности. Она увидит все это, думал я, и хоть на время отвлечётся от своих скорбных мыслей, и насладится лицезрением прекрасного, и напится миром, спокойствием, благополучием, музыкой, и это все вернёт ее к жизни, к любви и ко мне...

А героиня? Молодая женщина, источающая счастье. Природа была щедра и наделила ее упругим и здоровым телом, золотистой кожей, длинными, безукоризненными ногами, завораживающим бюстом. Она распахивала синие смеющиеся глаза, в которых с наслаждением тонули чувственные тбилисцы, и улыбалась, демонстрируя совершенный рот, и танцевала, окружённая крепкими, горячими, беспечными красавцами. Она сопровождала меня повсюду и даже усаживалась на старенький мой топчан, положив ногу на ногу, уставившись в меня синими глазами, благоухая неведомыми ароматами и австрийским здоровьем. Я, конечно, и думать не смел унижить ее грубым моим бытом, или послевоенными печалью, или намёками на горькую



**НИУ ВШЭ – Нижний Новгород**  
**Городская олимпиада школьников по литературе**  
**11 класс, 4 декабря 2016**

карагандинскую пустыню, перерезанную колючей проволокой. Она тем и была хороша, что даже и не подозревала о существовании этих перенаселённых пустынь, столь несовместимых с ее прекрасным голубым Дунаем, на берегах которого она танцевала в счастливом неведении. Несправедливость и горечь не касались её. Пусть мы... нам... но не она... не ей.

Я хранил ее как драгоценный камень и время от времени вытаскивал из тайника, чтобы полюбоваться, впиваясь в экраны кинотеатров, пропахших карболкой.

На привокзальной площади стоял оглушительный гомон. Все пространство перед вокзалом было запружено толпой. Чемоданы и узлы громоздились на асфальте, смех, и плач, и крики, и острые слова... Я понял, что опоздал, но, видимо, ненадолго, и еще была надежда... Я спросил сидящих на вещах людей, не пятьсот ли первым они прибыли. Но они оказались из Батуми. От сердца отлегло. Я пробился в справочное сквозь толпу и крикнул о пятьсот проклятом, но та, в окошке, задёрганная и оглушенная, долго ничего не понимала, отвечая сразу нескольким, а когда поняла наконец, крикнула мне с ожесточением, покрываясь розовыми пятнами, что пятьсот первый пришёл час назад, давно пришёл этот сумасшедший поезд, уже никого нету, все вышли час назад, и уже давно никого нету...

На привокзальной площади, похожей на воскресный базар, на груди чемоданов и тюков сидела сгорбленная старуха и беспомощно озиралась по сторонам. Я направился к ней. Что-то знакомое показалось мне в чертах ее лица. Я медленно переставлял одеревеневшие ноги. Она заметила меня, подозрительно оглядела и маленькую ручку опустила на ближайший тюк.

Я отправился пешком к дому в надежде догнать маму по пути. Но так и дошел до самых дверей своего дома, а ее не встретил. В комнате было пусто и тихо. За стеной кашлянул Меладзе. Надо было снова бежать по дороге к вокзалу, и я вышел и на ближайшем углу увидел маму!.. Она медленно подходила к дому. В руке у нее был фанерный сундучок. Все та же, высокая и стройная, какой помнилась, в сером ситцевом платице, помятом и нелепом. Сильная, загорелая, молодая. Помню, как я был счастлив, видя ее такой, а не сгорбленной и старой.

Были ранние сумерки. Она обнимала меня, тёрлась щекой о мою щеку. Сундучок стоял на тротуаре. Прохожие не обращали на нас внимания: в Тбилиси, где все целуются при встречах по многу раз на дню, ничего необычного не было в наших объятиях.

— Вот ты какой! — приговаривала она. — Вот ты какой, мой мальчик, мой мальчик, — и это было как раньше, как когда-то...

Мы медленно направились к дому. Я обнял ее плечи, и мне захотелось спросить, ну как спрашивают у только что приехавшего: «Ну как ты? Как там жилось?..» — но спохватился и промолчал.

Мы вошли в дом. В комнату. Я усадил ее на старенький диван. За стеной кашлянул Меладзе. Я усадил ее и заглянул ей в глаза. Эти большие, карие, миндалевидные глаза были теперь совсем рядом. Я заглянул в них... Готовясь к встрече, я думал, что будет много слез и горьких причитаний, и я приготовил такую фразу, чтобы утешить ее: «Мамочка, ты же видишь — я здоров, все хорошо у меня, и ты здоровая и такая же красивая, и все теперь будет хорошо, ты вернулась, и мы снова вместе...» Я повторял про себя эти слова многократно, готовясь к первым объятиям, к первым слезам, к тому, что бывает после десятилетней разлуки... И вот я заглянул в ее глаза. Они были сухими и отрешенными, она смотрела на меня, но меня не видела, лицо застыло, окаменело, губы слегка приоткрылись, сильные загорелые руки безвольно лежали на коленях. Она ничего не говорила, лишь изредка поддакивала моей утешительной болтовне, пустым разглагольствованиям о чем угодно, лишь бы не о том, что было написано на ее лице...

**НИУ ВШЭ – Нижний Новгород**  
**Городская олимпиада школьников по литературе**  
**11 класс, 4 декабря 2016**

«Уж лучше бы она рыдала», — подумал я. Она закурила дешёвую папиросу. Провела ладонью по моей голове...

— Сейчас мы поедим, — сказал я бодро. — Ты хочешь есть?

— Что? — спросила она.

— Хочешь есть? Ты ведь с дороги.

— Я? — не поняла она.

— Ты, — засмеялся я, — конечно, ты...

— Да, — сказала она покорно, — а ты? — И, кажется, даже улыбнулась, но продолжала сидеть все так же — руки на коленях...

Я выскочил на кухню, зажёл керосинку, замесил остатки кукурузной муки. Нарезал небольшой кусочек имеретинского сыра, чудом сохранившийся среди моих ничтожных запасов. Я разложил все на столе перед мамой, чтобы она порадовалась, встрепенулась: вот какой у нее сын, и какой у него дом, и как у него все получается, и что мы сильнее обстоятельств, мы их вот так пересиливаем мужеством и любовью. Я метался перед ней, но она оставалась безучастна и только курила одну папиросу за другой... Затем закипел чайник, и я пристроил его на столе. Я впервые управлялся так ловко, так быстро, так аккуратно с посудой, с керосинкой, с нехитрой снедью: пусть она видит, что со мной не пропадешь. Жизнь продолжается, продолжается... Конечно, после всего, что она перенесла, вдали от дома, от меня... сразу ведь ничего не восстановить, но постепенно, терпеливо...

Когда я снимал с огня лепёшки, скрипнула дверь, и Меладзе засопел у меня за спиной. Он протягивал мне миску с лобио.

— Что вы, — сказал я, — у нас все есть...

— Дэржи, кацо, — сказал он угрюмо, — я знаю... Я взял у него миску, но он не уходил.

— Пойдемте, — сказал я, — я познакомлю вас с моей мамой, — и распахнул дверь.

Мама все так же сидела, положив руки на колени. Я думал — при виде гостя она встанет и улыбнется, как это принято: очень приятно, очень приятно... и назовет себя, но она молча протянула загорелую ладонь и снова опустила ее на колени.

— Присаживайтесь, — сказал я и подставил ему стул.

Он уселся напротив. Он тоже положил руки на свои колени. Сумерки густели. На фоне окна они казались неподвижными статуями, застыв в одинаковых позах, и профили их казались мне сходными.

О чем они говорили и говорили ли, пока я выбегал в кухню, не знаю. Из комнаты не доносилось ни звука. Когда я вернулся, я заметил, что руки мамы уже не покоились на коленях и вся она подалась немного вперед, словно прислушиваясь.

— Батык? — произнес в тишине Меладзе. Мама посмотрела на меня, потом сказала:

— Жарык... — и смущенно улыбнулась.

Пока я носился из кухни в комнату и обратно, они продолжали обмениваться короткими непонятными словами, при этом почти шёпотом, одними губами. Меладзе цокал языком и качал головой. Я вспомнил, что Жарык — это станция, возле которой находилась мама, откуда иногда долетали до меня ее письма, из которых я узнавал, что она здорова, бодра и все у нее замечательно, только ты учишь, учишь хорошенько, я тебя очень прошу, сыночек... и туда я отправлял известия о себе самом, о том, что я здоров и бодр, и все у меня хорошо, и я работаю над статьёй о Пушкине, меня все хвалят, ты за меня не беспокойся, и уверен, что все в конце концов образуется и мы встретимся... И вот мы встретились, и сейчас она спросит о статье и о других безответственных баснях...



**НИУ ВШЭ – Нижний Новгород**  
**Городская олимпиада школьников по литературе**  
**11 класс, 4 декабря 2016**

Меладзе отказался от чая и исчез. Мама впервые посмотрела на меня осознанно.

— Он что, — спросил я шепотом, — тоже там был?

— Кто? — спросила она.

— Ну кто, кто... Меладзе...

— Меладзе? — удивилась она и посмотрела в окно. — Кто такой Меладзе?

— Ну как кто? — не сдержался я. — Мама, ты меня слышишь? Меладзе... мой сосед, с которым я тебя сейчас познакомил... Он тоже был... там?

— Тише, тише, — поморщилась она. — Не надо об этом, сыночек...

О Меладзе, сопящий и топчущийся в одиночестве, ты тоже ведь когда-то был строен, как кизиловая ветвь, и твое юношеское лицо с горячими и жгучими усиками озарялось миллионами желаний. Губы поблекли, усы поникли, вдохновенные щёчки опали. Я смеялся над тобой и исподтишка показывал тебя своим друзьям: вот, мол, дети, если не будете есть манную кашу, будете похожи на этого дядю... И мы, пока ещё пухлогубые и остроглазые, диву давались и закатывались, видя, как ты неуклюже топчешься, как настороженно высовываешься из дверей... Чего ты боялся, Меладзе?

Мы пили чай. Я хотел спросить, как ей там жилось, но испугался. И стал торопливо врать о своем житье. Она как будто слушала, кивала, изображала на лице интерес, и улыбалась, и медленно жевала. Провела ладонью по горячему чайнику, посмотрела на выпачканную ладонь...

— Да ничего, — принялся я утешать её, — я вымою чайник, это чепуха. На керосинке, знаешь, всегда коптится.

— Бедный мой сыночек, — сказала в пространство и вдруг заплакала.

Я ее успокаивал, утешал: подумаешь, чайник. Она отёрла слезы, отодвинула пустую чашку, смущённо улыбнулась.

— Все, все, — сказала, — не обращай внимания, — и закурила.

Каково-то ей там было, подумал я, там, среди солончаков, в разлуке?..

Меладзе кашлянул за стеной.

Ничего, подумал я, все наладится. Допьём чай, и я поведу ее в кино. Она ещё не знает, что предстоит ей увидеть. Вдруг после всего, что было, голубые волны, музыка, радость, солнце и Марика Рёкк, подумал я, зажмурившись, и это после всего, что было... Вот возьми самое яркое, самое восхитительное. Самое драгоценное из того, что у меня есть, я дарю тебе это, подумал я, задыхаясь под тяжестью собственной щедрости... И тут я сказал ей:

— А знаешь, у меня есть для тебя сюрприз, но для этого мы должны выйти из дому и немного пройтись...

— Выйти из дому? — И она поморщилась.

— Не бойся, — засмеялся я. — Теперь ничего не бойся. Ты увидишь чудо, честное слово! Это такое чудо, которое можно прописать вместо лекарства... Ты меня слышишь? Пойдём, пойдём, пожалуйста...

Она покорно поднялась.

Мы шли по вечернему Тбилиси. Мне снова захотелось спросить у нее, как она там жила, но не спросил: так все хорошо складывалось, такой был мягкий, медовый вечер, и я был счастлив идти рядом с ней и поддерживать ее под локоть. Она была стройна и красива, моя мама, даже в этом сером помятом ситцевом, таком не тбилисском платье, даже в стоптанных сандалиях неизвестной формы. Прямо оттуда, подумал я, и — сюда, в это ласковое тепло, в свет сквозь листву платанов, в шум благополучной толпы... И еще я подумал, что, конечно, нужно было заставить ее переодеться, как-то ее прихорошить, потому что, ну что она так, в том же, в чем была там... Пора позабывать.

**НИУ ВШЭ – Нижний Новгород**  
**Городская олимпиада школьников по литературе**  
**11 класс, 4 декабря 2016**

Я вел ее по проспекту Руставели, и она покорно шла рядом, ни о чем не спрашивая. Пока я покупал билеты, она неподвижно стояла у стены, глядя в пол. Я кивнул ей от кассы — она, кажется, улыбнулась.

Мы сидели в душном зале, и я сказал ей:

— Сейчас ты увидишь чудо, это так красиво, что нельзя передать словами... Послушай, а там вам что-нибудь показывали?

— Что? — спросила она.

— Ну, какие-нибудь фильмы... — и понял, что говорю глупость, — хотя бы изредка...

— Нам? — спросила она и засмеялась тихонечко.

— Мама, — зашептал я с раздражением, — ну что с тобой? Ну, я спросил... Там, там, где ты была...

— Ну, конечно, — проговорила она отрешённо.

— Хорошо, что мы снова вместе, — сказал я, словно опытный миротворец, предвкушая наслаждение.

— Да, да, — шепнула она о чем-то своём.

...Я смотрел то на экран, то на маму, я делился с мамой своим богатством, я дарил ей самое лучшее, что у меня было, зал заходил в восторге и хохоте, он стонал, рукоплескал, подмурлыкивал песенки... Мама моя сидела, опустив голову. Руки ее лежали на коленях.

— Правда, здорово! — шепнул я. — Ты смотри, смотри, сейчас будет самое интересное... Смотри же, мама!..

Впрочем, в который уже раз закопошилась в моем скользящем и шатком сознании неправдоподобная мысль, что невозможно совместить те обстоятельства с этим ослепительным австрийским карнавалом на берегах прекрасного голубого Дуная, закопошилась и тут же погасла...

Мама услышала моё восклицание, подняла голову, ничего не увидела и поникла вновь. Прекрасная обнажённая Марика сидела в бочке, наполненной мыльной пеной. Она мылась как ни в чем не бывало. Зал благоговел и гудел от восторга. Я хохотал и с надеждой заглядывал в глаза маме. Она даже попыталась вежливо улыбнуться мне в ответ, но у нее ничего не получилось.

— Давай уйдём отсюда, — внезапно шепнула она.

— Сейчас же самое интересное, — сказал я с досадой.

— Пожалуйста, давай уйдем...

Мы медленно двигались к дому. Молчали. Она ни о чем не расспрашивала, даже об университете, как следовало бы матери этого мира.

После пышных и ярких нарядов несравненной Марики мамино платье казалось ещё серей и оскорбительней.

— Ты такая загорелая, — сказал я, — такая красивая. Я думал увидеть старушку, а ты такая красивая...

— Вот как, — сказала она без интереса и погладила меня по руке. В комнате она устроилась на прежнем стуле, сидела, уставившись перед собой, положив ладони на колени, пока я лихорадочно устраивал ночлег. Себе — на топчане, ей — на единственной кровати. Она попыталась сопротивляться, она хотела, чтобы я спал на кровати, потому что она любит на топчане, да, да, нет, нет, я тебя очень прошу, ты должен меня слушаться (попыталась придать своему голосу шутливые интонации), я мама... ты должен слушаться... я мама... — и затем, ни к кому не обращаясь, в пространство, — ма—ма... ма—ма...

**НИУ ВШЭ – Нижний Новгород**  
**Городская олимпиада школьников по литературе**  
**11 класс, 4 декабря 2016**

Я вышел в кухню. Меладзе в нарушение своих привычек сидел на табурете. Он смотрел на меня вопросительно.

— Повел ее в кино, — шёпотом пожаловался я, — а она ушла с середины, не захотела...

— В кино? — удивился он. — Какое кино, кацо? Ей отдыхать надо...

— Она стала какая-то совсем другая, — сказал я. — Может быть, я чего-то не понимаю... Когда спрашиваю, она переспрашивает, как будто не слышит...

Он поцокал языком.

— Когда человек нэ хочит гаварить лишнее, — сказал он шепотом, — он гаварит мэдлэнно, долго, он думаэт, панимаешь? Ду-ма-эт... Ему нужна врэмья... У нэго тэперь привычка...

— Она мне боится сказать лишнее? — спросил я. Он рассердился:

— Нэ тэбэ, нэ тэбэ, генацвале... Там, — он поднял вверх указательный палец, — там тэбя нэ било, там другие спрашивали, зачэм, почэму, панимаешь?

— Понимаю, — сказал я.

Я надеюсь на завтрашний день. Завтра все будет по-другому. Ей нужно сбросить с себя тяжёлую ношу минувшего. Да, мамочка? Все забудется, все забудется, все забудется... Мы снова отправимся к берегам голубого Дуная, сливаясь с толпами, уже неотличимые от них, наслаждаясь красотой, молодостью, музыкой.... да, мамочка?..

— Купи ей фрукты... — сказал Меладзе.

— Какие фрукты? — не понял я.

— Черешня купи, черешня...

...Меж тем и сером платьице своём, ничем не покрывшись, свернувшись калачиком, мама устроилась на топчане. Она смотрела на меня, когда я вошел, и слегка улыбалась, так знакомо, просто, по-вечернему.

— Мама, — сказал я с укоризной, — на топчане буду спать я.

— Нет, нет, — сказала она с детским упрямством и засмеялась...

— Ты любишь черешню? — спросил я.

— Что? — не поняла она.

— Черешню ты любишь? Любишь черешню?

— Я? — спросила она...

1986